

Валентина ГОЛУБОВСКАЯ

Только детские книги читать...

...в детстве не пришлось. К сожалению или к счастью, не знаю. Читалось все, что можно было читать. А стихи Мандельштама, откуда я позаимствовала строчку заголовка, нам тогда были неведомы. Как и его имя.

С нашим нехитрым шарбом в оккупированной Одессе перемещались и те немногие книги, которые были в доме. Все они помещались на полках одной этажерки, но мне казались библиотекой. Правда, первой библиотекой, в которую я попала, была скромная школьная библиотека, но мне она представлялась наполненной книжными сокровищами. А уж когда ее владелица, немолодая дама, внешне не похожая на наших учительниц и пионервожатых (может, из "бывших"?), позволила мне заходить за перегородку и выбирать себе книгу для чтения — это было невероятным счастьем, приобщением к таинству, хоть слова такого я еще не знала. Великие библиотеки — наша Горьковка, библиотеки одесского и ленинградского университетов ("коридор Петровских коллегий бесконечен, гулок и прям" — нужно было пройти четыреста метров его протяженности, чтобы в торце открылась заветная дверь в этот книжный рай!), библиотека Академии художеств с ее торжественными ампириными залами, питерская Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина — меня ждали в будущем, о чем я тогда и не догадывалась, как не догадывалась, что судьба подарит мне книжные драгоценности, любовно собранные моим мужем... Все это будет в счастливым потом!

Кроме книг на этажерке были еще "папины книги" — богословские, хранившиеся особняком в тумбочке под иконами. Я и тогда заглядывала, с особым интересом рассматривая "Путеводитель", с которым папа накануне первой мировой совершил долгое паломничество по Святым местам, и альбом фотографий Афонских монастырей.

Я рано начала читать, года в три с половиной, не позже, а когда еще чуть подросла, папа выучил меня церковнославянской азбуке, и чтобы доставить ему радость, я легко читала вслух Новый Завет...

В тишине буфета, в одном из его отделений хранились "мамыны книги". Рядом с образчиками выкроек, вышивок, кружев, книжек о лекарственных травах стенно высились три книги, неизменно вызывавшие мой интерес. Первая — "Домашняя медицина" Флоринского, изданная в начале XX века. Мама всю свою долгую жизнь предпочитала лечению натурными средствами, насколько это было возможно. Различные травы, графинчик с водкой, настоянной на зеленых орехах, другой графинчик — с "церковным вином", кагором — мне кажется, никогда не исчезали из буфета. И минимальный арсенал лекарств — аспирин, цитрамон и прочие, столь же "демократические" лекарства.

Я думаю, что мама, сложившая ее жизнь иначе, была бы замечательным врачом, таким же, как моя покойная свекровь Клара Натановна, наша Кларочка, которая была врачом от Бога. Даже сейчас ее пациенты, а прошло почти двадцать лет после ее ухода, вспоминают ее с благодарностью, что греет нам душу.

Мама же лечила нас сама, и только в каких-то сложных ситуациях в доме звучала фраза: "Нужно пригласить врача!". "Вызвать врача!" — этого в лексиконе тех лет (не только в нашей семье) не было. "Вызвать врача!", по-моему, появилось тогда, когда из одесского языка исчезло обращение "Мадам!", и стало все чаще звучать "Женщина!".

Пока мама лечила нас и врачевала оказавшихся в беде и печали многочисленных родственников, я читала "Домашнюю медицину". Не скажу, что так уж она была мне интересна (может, я напоминала гоголевского Селлфура, готового читать все без разбору?), но какие-то страницы привлекали мое внимание, и подлинный

ужас вызывало название и описание болезни "пьяска святого Витта"...

Две книги из мамино "хранилища" были совсем другими. Одна, в простеньком холщовом переплете, называлась "Скоромный и постный стол. Кулинарное пособие для хозяйки". В предисловии автор, Александра Толиверова, сообщала, что адресует эту книгу семьям среднего достатка. Правда, советы, как одевать прислугу, как следить за наличием носового платка в кармане передника, чтобы, не дай Бог, прислуга "не сморкалась в полотенца", описание всяческих блюд, например, "экономического супа", для которого нужно было взять "полтора фунта говядины или старую курицу", коренья, варить, а когда суп будет готов, "курицу за ненадобностью можно выбросить" (!), и упоминание о "среднем достатке" казались в послевоенные годы и даже гораздо позже неуместной шуткой. Потом этот томик достался мне по наследству. Лет двадцать тому назад в одном из "толстых" журналов, кажется, это была "Нева", мы наткнулись на статью об Александре Толиверовой, и я теперь совсем иначе отношусь к этому скромному пособию о скоромном и постном столе. Александра Толиверова, оказалось, в шестидесятые годы девятнадцатого века жила в Италии, была ближайшей сподвижницей Гарибальди. Даже жила в его доме, под видом невесты проникла в тюрьму, где томился друг и адъютант Гарибальди, чтобы предупредить его о готовящемся побеге... Потом вернулась в Россию, издавала женские и детские журналы, запомнилось название одного из них — "Игрушечка". Кулинарная книга была ею написана в то время, на сломе веков, когда все больше женщин, не только бестужевки, посвящали себя работе — просвещению, медицине, социальным движениям...

Рядом с "Домашней медициной", и толстым томиком А. Толиверовой, демократическими изданиями начала прошлого века настоящей императрицей высилась знаменитая книга Елены Молоховец — в черном кожаном переплете с золотым тиснением. Эти книги, как и кузнецовский поднос с характерными букетиками цветов, висящий теперь у нас, — подарки, свидетели свадьбы моих родителей в 1925 году на Сретенье, 15 февраля...

В отличие от многих моих сверстников, бредивших в детские годы Жюлем Верном, я оказалась равнодушной к его фантастике. Мне фантастику заменила Елена Молоховец. Это было совершенно платоническое увлечение. В мою детскую голову даже не приходила мысль, что все эти фантастические названия — соусов, супов, сыров, овощей, закусок, кондитерских чудес, чаще написанные по-французски, все эти слова — унции, фунты, золотники — были словами из реальной жизни. Нет, они подходили на слова из исторических романов, а еще больше на фантастические полеты воображения!

Когда появилась советская "Книга о вкусной и здоровой пище", картинки в ней вызвали плотоядные мысли и желания. Но книга была простецкой! В ней не было тайны. Полюбить ее было невозможно. Когда я уже в зрелом возрасте прочла уничтожающее стихотворение Арсения Тарковского о Елене Молоховец и ее книге, мне стало немного обидно. Мое детское отношение к этой книге было совершенно лишено гастрономических притязаний.

Кстати, я вспомнила, как Аркадий Райкин в каких-то воспоминаниях рассказывал, что был на гастролях в Англии, когда Анна Ахматова получила докторские почести в Оксфорде. Из советского посольства ему посоветовали быть на этой церемонии. Описывая ее, Аркадий Исаакович вспоминал, что на чествовании "королевы поэзии" присутствовали он, "клоун" и "сын кухарки" — сын Елены Молоховец, живший в Англии...

Как и у Арсения Тарковского, опять мелькнуло уничтожительное — "кухарка".

Заинтересовавшись тем, кем же была Елена Молоховец, мой любопытный муж заглянул в интернет и выяснил, что Елена Ивановна Бурман родилась в 1831 году в дворянской семье. Отец был начальником таможенной службы в Архангельске. Рано лишившись матери, она была отдана бабушкой в Смольный институт благородных девиц, который окончила с отличием. Вернувшись в Архангельск, вышла замуж за главного архитектора города — Франца Молоховца.

А в 1861 году впервые выходит ее книга "Подарок молодым хозяйкам", выдержавшая до революции 29 изданий. Умерла Елена Ивановна Молоховец в Петрограде в 1918 году среди нищеты и, вполне вероятно, от голода... Так что, при всей любви к Арсению Тарковскому его филиппики в адрес "кухарки", "полублагородной", "полублагородной" мне кажутся, по меньшей мере, несправедливыми...

Но все-таки чаще всего я обитала в противоположном углу комнаты, рядом с книжной этажеркой. На ее полках стояли огромные (так мне тогда казалось!) однотомники Пушкина, Гоголя, Чехова. Не уступающая им в объеме "Хрестоматия" (очевидно, для гимназий), в которой были отрывки и, как теперь бы мы сказали, — дайджесты, из произведений мировой и русской литературы. Именно благодаря этой хрестоматии я впервые узнала имена Эзопа, Лафонтена (удивлялась, почему их басни так похожи на басни Крылова?!), Шекспира, Гете и — мне самой кажется теперь невероятным — Хемингуэя, Хераскова, Сумарокова и Тредиаковского.

Среди этих фолиантов скромно ютились и другие книги — отдельное издание "Евгения Онегина" с силуэтными иллюстрациями В. Свистальского (на имена художников-иллюстраторов я стала обращать внимание гораздо позже), "дооктябрьский" томик Лермонтова с ятями, но, увы, без пьес и прозы. Этот недостаток был восполнен. На этажерке со временем появились толстая тетрадь в синем коленкором переплете (большая редкость и ценность по тем временам), в которую мои старшие сестры в четыре руки старательно переписали лермонтовский "Маскарад". Именно из этой тетради я и учила любимые монологи: "...кто был там, с кем я говорила, кому браслет на память подарила, и Вы узнаете все лучше во сто крат, чем съездили бы сами в маскарад...". Какой же радостью была покупка (на нее долго сестры собирали по копейке), опять же, большого однотомника Лермонтова — со стихами, поэмами, прозой и пьесами.

В семье благодаря маме был культ Некрасова. Многие она знала наизусть, что-то читала вслух при свете керосиновой лампы из тоненьких дешеских изданий. А на мое десятилетие старшая сестра, моя Лена, подарила мне большой однотомник Некрасова в голубом переплете. Это уже было счастье несказанное. Он и теперь, с пожелтевшими страницами, с трогательной надписью, стоит у нас на полке...

Но, наверное, в том далеком детстве из всех книг, стоявших на этажерке, одна из самых любимых — катавский "Белеет парус одинокий". Мне кажется, что тогда я знала каждую страницу наизусть. Теперь я думаю, что любовь к "Парусу" была воплощением знаменитых слов "И сладок нам лишь узнавание миг". Естественно, наши реалии, наш быт никак не были похожи на жизнь семейства Бачей. И все же — соблазнительное, покоряющее сходство деталей — венские стулья в столовой (пусть у нас не было столовой!), цветок гиацинта, распускающийся в Пасхе (пусть мы еще не видели, как выглядят гиацинты), но у нас к Пасхе зеленела трава, высаженная мамой на красивой тарелке, а вокруг нее — крашенки. И сказочность елки, к которой мы заранее вырезали корзинки из цветной бумаги, и из нее же

склеивали цепи взамен стеклянных гирлянд, которых у нас не было и в помине. И пусть орехи мы не покрывали сусальным золотом, но, обернутые в фольгу, они были не менее волшебными. И простая карамель в бумажной обертке была не менее вкусной, чем все надкусанные Павлом пряники на елке у Бачеев. Мне эта елка у героев Катаева была так близка, что я, стоя под огромным тополем напротив велотрека (теперь на его месте Музкомедия) в компании своих соучениц, рассказывая о нашей елке, повесила на нее и надкусанные пряники. Алла Грабова, девочка из параллельного класса (потом она училась в одном классе с Сашей Розенбоймом), воскликнула: "Так это же в Белеет парус одинокий" Павлик надкусывал пряники!". Я посмотрела на нее высокомерно и сказала: "Ну и что?! У нас на елке тоже висят надкусанные пряники!". Наверное, мне тогда казалось, что эти золотые надкусанные пряники — невероятная роскошь!

А вся одесская топонимика! Вот и я хожу в школу на Французский бульвар, правда, по нему не проезжает ландо Каульбарса. Вот же, в квартале от нашей Малой Арнаутской, на нашей Гимназической угол Новорыбной, Петя читал взалоб, поступая в гимназию, "Белеет парус одинокий". Я ведь с тем же упоением читаю "А он, мятежный, просит бури...". А аптека на Канатной, мимо которой проезжал, возвращаясь из Аккермана, Петя! — мы же тоже туда бегаем. А слюдяные дорожки равликов-павликов, пусть не на заборе дачи Маразли, но они серебрятся и в нашем дворе. А курень дедушки и Гаврика! Мы застали еще похожие курени на склонах в послевоенной Одессе.

Конечно, Ближние Мельницы — это был какой-то неведомый край одесской земли. Как-то приехав в Питер, пытаюсь объяснить нашему приятелю, где мы теперь живем. Он был у нас на Кузнецкой, а я ему что-то втолковываю про одесские Черемушки. Кажется, объяснила. Вдруг он воскликнул: "Так что, вы теперь живете за Ближними Мельницами, куда Гаврик водил Петю к брату Терентию? Так бы и сказала сразу!". А приятель был коренным петербуржцем.

Моя любовь к Пете и Гаврику была почти домашней, своей, как к мальчишкам из нашего или соседнего двора. Другое дело — возвышенная, роющая любовь к Николеньке Иртеневу! И все Николенькины печали, и все радости (ну, хоть право наконец-то надеть панталоны со штрипками, как у взрослых!) я готова была делить с Николенькой. Правда, я не могла разобрататься, кого же я люблю больше — самого Николеньку или добрейшего Карла Ивановича. Из толстовской трилогии именно "Детство" перечитывалось бесконечно и всегда с упоением!

Я вспомнила только некоторые книги, стоявшие у нас на этажерке. Они были читаны-перечитаны, но кроме них в доме постоянно читались книги, взятые у подружек, у друзей родителей, потом и в библиотеках.

И хоть перед летними каникулами "Пионерская правда" печатала список книг, которые необходимо было прочесть в течение лета (и они прочитывались!), но никакого "планового" чтения не было. Читалось все! И одно другому не мешало. Горючие слезы, доходявшие до рыданий, проливались над "Хижиной дяди Тома", "Принцем и нищим", "Дэвидом Копперфильдом" и романами Лидии Чарской, будь то "Лизочкино счастье", "За что?" или "Княжна Джаваха". Сколько язвительной критики, сколько критического яда было вылиты на голову бедной писательницы и на ее романы! Наверное, справедливо. Я с тех далеких лет, естественно, не только их не перечитывала, но даже не держала в руках. Но вспоминая, сколько жалости и сострадания в моей не искусственной в литературных тонкостях душе вызывали судьбы героини Чарской, сколько неподдельных слез было пролито на рассыпав-

шиеся от времени, затертые страницы ее книг, я несколько не жалею о том, что в детстве читала Чарскую.

Конечно, были попытки со стороны старших блюсти какие-то возрастные пределы. Сестры читали Мопассана и Золя. Мне не давали. Звучало убойственное: "Ты еще маленькая!". У-у-у-у! Приходилось читать в их отсутствие, тайком. Какие-то слова и ситуации были совершенно непонятны. Но спросить нельзя — ведь тайком! Помню, как, читая сиение тома сочинений Шеллера-Михайлова, никак не могла понять, почему все время наталкиваюсь на неправильное написание слова — кокетки. Ведь правильно — кокетки! И почему герои так часто восклицают: "Поедем к кокеткам!". Что они делают у этих кокеток?!

И еще одно воспоминание о Шеллере-Михайлове. Одна из героинь критически отзывалась о желтом платье с зеленым поясом другой героини (зеленый пояс на розовом платье чеховской героини, по-моему, появился позже) — совершенно уничтожающе: "Яичница с луком!". Вот и все, что осталось в памяти от нескольких томов Шеллера-Михайлова. Мало? Но есть же книги, от которых и этого не остается.

Естественно, что книги вызывали не только горючие слезы. Можно было хохотать до слез, читая "Приключения Тома Сойера" или в тоненькой книжке "Библиотеки "Огонька" (романы еще не были переизданы) отрывок из "Двенадцати стульев" про Эллку-людоедку.

Сколько досады вызывала хранившаяся там же, на этажерке, старенькая книжка, в которой отсутствовали первые страницы! Это был "Овод" Лилян Войнич. Мне приходилось самой догадываться о круто завязанной интриге, и каким облегчением стало прочтение книги, вновь изданной через несколько лет, со всеми страницами, подтвердившее мои догадки...

Так случилось, что еще одна книга, "немного беременная", как говорит в таких случаях наш друг Сергей Зенонович Лучиц, лишенная последних страниц, то ли кем-то подаренная (тогда не стеснялись таких "ущербных" подарков), то ли купленная сестрами на каком-нибудь книжном развале, появилась на этажерке позже. И любовь к ее герою вытеснила из моего сердца и Петю с Гавриком, и даже Николеньку Иртеневу. Это был "Кюхля" Юрия Тьяннова. Бедный Кюхля! Я готова была бежать с ним топиться в царскосельском пруду, вызывать на дуэль друзей-насмешников, негодовать по поводу эпиграммы "так было мне, мои друзья, и кюхлябеккерно, и тошно", и вместе с тем не могла сквозь слезы сострадания не хохотать над несуразностью долговязого Кюхля. Тогда я влюбилась в Лицелю. И в Пушкина. В юбилейном однотомнике Пушкина, стоявшем на полке этажерки, было много портретов — самого поэта, лицейских друзей, героинь "донжуанского" списка Александра Сергеевича. Только после "Кюхли" они в моем воображении ожили, задышали, обрели голоса. Заветная книга!

И все же, возвращаясь к книгам детства, я вспоминаю одну, ни автора, ни названия которой я не помню. Не помнят и мои сестры.

Холодным осенним днем мама пошла на Привоз. Денег не было. Какие-то гроши. Не помню, может, мама взяла из дому что-нибудь продать, а может, надеялась на эти гроши что-то купить. Во всяком случае, ничего съестного купить ей не удалось. Удрученная, мама покинула Привоз и при выходе увидела женщину, продававшую какую-то книгу.

Мама пришла домой и сказала: "Девочки, я вам ничего не купила из еды. Но зато я купила вам книгу!". Мы, три мамы девочки, сморим теперь друг на друга и пытаемся вспомнить, какую же книгу в тот день мама нам купила! И к своему стыду, возведенному в куб, вспомнить не можем. Но главное воспоминание осталось.

Мама купила Книгу.